

Николай САМОХИН

СХОДИТЬ НА ВОЙНУ

Он умер через восемнадцать лет после окончания войны.

Не от старых ран умер, хотя ранен был. И не от старости: ему шёл только шестьдесят третий год, выглядел он ещё вполне крепким и для своих лет молоджавым.

Его убил рак. От какой сырости завёлся он в мужике, не болевшем за всю жизнь ничем, кроме насморка?.. Но вцепился клешнями своими намертво (операция не помогла) и держал полгода в постели, медленно, по капле, выедавая жизнь из организма.

Отчего-то людям добрым, простым, невеликим, по бесхитростности своей не успевшим и нагрешить как следует, часто достаётся мучительная смерть. Ломает судьба человека, ломает, гнёт его, мордует по-всякому, а он живёт себе, крутится да ещё и порадоваться умеет: тому, что ведро на дворе или дождичек ко времени, что картошка уродилась не в пример прошлогодней, крупная, что ребятишки нынче почти не болели и что к празднику отвалили пятнадцать рублей премии. И паразитом не становится, в глотку никому не вцепляется, не гребёт под себя всеми четырьмя лапами. И тогда в последнем слепом озлоблении, что ли, судьба посылает ему тяжёлую, неизлечимую болезнь. Вот, мол, гляди: ведь помираешь лежишь. Откукарекался, шабаш. А чего видел в жизни? В каких красных углах какие жирные пироги ел? Словно хочет доломать его под конец, обидеть на весь белый свет. Да только ничего у неё не получается. Замечено: уходят мужики достойно (хотя и слова этого сроду не знали), не цепляясь за жизнь, но и не торопясь из неё, до последнего хрипа вытерпев боль.

Человек, о котором наша повесть, именно таким и был: простым, незлобивым, принявшим жизнь (со всеми её нехватками, с тюрьмой и сумой, чёрной работой, редкими праздниками и тяжёлыми похмельями) не как проклятье, а как свою мужицкую норму.

Что о нём рассказать?

Построил он за свой век три дома. Не хоромы – пятистенки, рубленные в «лапу». Торопливое было

время – не до хоров. Приезжая на новое место, он, как и все вокруг, торопливо лепил засыпуху, лишь бы не зимовать с ребятишками в палатке. От засыпух не осталось теперь и следа, зато дымят в тех местах три завода-гиганта, в которых, выражаясь по-книжному, есть и его труд тоже.

Один раз в жизни он дрался. Бил человека. Это случилось сразу после фронта, когда он левую руку носил ещё на перевязи и начальник конного двора временно поставил его на лёгкую работу – послал объездчиком на сенокос. Драка, хотя она и кончилась в его пользу, была какая-то непочётная, из-за бабы. То есть, конечно, если разобраться, то не из-за бабы вовсе. Но разобраться никто не стал. Фактически получилось – из-за бабы.

Сено заготавливали в тридцати километрах от города, возле деревни Безухово. Жили коновозчики, откомандированные на покос, все вместе, в длинном балагане. А в конце балагана был отгорожен закуток с топчаном – для поварихи. Вот в этот закуток он вскоре и переселился. Как-то всё нечаянно вроде получилось, само собой. Рука ещё побаливала, мозжила, повязку надо было время от времени менять. Ну повариха раз помогла ему перевязаться. «Ты полежи, – сказала, – здесь, отдохни, пока я со стола приберу. А то мужики, гляди, размахались руками – ещё заденет кто в колготе». Он и прилёг на топчан. А ночью проснулся – повариха под боком...

Ну и... Мужик ведь тоже не железный. Тем более всего неделю дома побыл – и опять его за тридцать километров. Ближе лёгкой работы не нашлось.

Повариха, хоть и молодая ещё деваха была, но уже очень гостеприимная. Алёшка Сквородин, здоровенный дядя, чуть не в полтора центнера весом, оставленный ею ради фронтовика, заревновал, начал заедаться по любому поводу. Однажды вечером он заявился в балаган выпивши, сел в торце длинного стола, воткнул перед собой нож и крикнул:

– Начальничек! Выходи! Драться с тобой буду!

«Начальничек» лежал в закутке босой, смотрел на Алёшку поверх своих ног. Прямо на коряженый жёлтый ноготь большого пальца насажена была красномордая Алёшкина голова. «Ишь, отъел ряшку в тылу, боров», – думал он без азарта. Вставать не хотелось. Не хотелось связываться с дураком.

Алёшка осмелел.

– Что, в штанах мокро?! – захохотал он. – Мужики! Он же не воевал! Он у бабки в подвале просидел. Точно говорю. А потом сам себя стрелил – и домой.

Вот это и сдернуло фронтовика с топчана, обидное это обвинение.

Он подскочил к железной печке, стал хватать здоровой рукой поленья. Поленья были широкие, из расколотых надвое толстых чурок – не ухватыва-

лись, высказывали. Алёшка глумливо ржал. Потом пихнул его в бок ногой, повалив на эти поленья.

Тогда он поднялся и кулаком ударил в смеющуюся рожу. Даже и не мечтал, что уронит Алёшку. А тот вдруг как-то покорно осел, будто стукнули его не кулаком, а мешочком со свинцовой дробью. Вскочил было на ноги, но от второго удара снова упал на четвереньки. Так, на четвереньках, он и выполз из балагана.

Рассказывали, что ошеломлённый Сквородин, отмахав за ночь тридцать километров, к утру завалился на конный двор с жалобой на объездчика. Но не был узан: вместо лица у Алёшки оказался сплошной синий блин.

«Начальничек» потом рассматривал свой кулак, помахивал им, недоумённо хмыкал. Большая убойная сила, выходит, таилась в руке.

Открытие это, однако, не сделало его в жизни отчаяннее. Один раз он праздновал труса. Очень позорно, унизительно. Кстати, уже после случая с Алёшкой Сквородиныным.

Началось так: сперва прилетел от соседей сизый голубь и опустился на крышу Засыпухи. Следом за голубем прибежал хозяин его. Жил неподалёку, в квартирантах у деда Остроумова, один такой подзорительный хлюст-голубятник: неприятный парень, видом и замашками похожий на урку. Все про него так и считали – урка. Хозяин прибежал, стал поднимать с земли половинки кирпичей и швырять ими в голубя.

Засыпуха была крыта толью. Половинки беззвучно пробивали толь, оставляя рваные раны.

Он вышел из дому, сказал укоризненно:

– Что ж ты делаешь, а? Ведь ты, погляди, крышу мне совсем издырявил.

Парень усмехнулся, запустил руку во внутренний карман пиджака и вынул что-то продолговатое, завернутое в толстую мешочную бумагу. Всё так же молча скалясь, развернул. В руке его тускло блеснула финка жёлтого металла.

Он бежал от урки на подгибающихся, непослушных ногах, некрасиво приседая, будто у него вдруг отяжелел зад. Бежал, бледный, как молоко, мимо собственного порога, мимо кобеля, надсаживающегося от хрипа (стоило только нагнуться, карабин отстегнуть), мимо стайки, где хранились вилы и лопаты, хотя урка даже и не гнался за ним, а только, пугая, топотил на месте.

Потом он, храбрясь, говорил:

– Да кабы мне в тот момент вилы подвернулись!.. Я бы ему враз четыре дырки провертел. Провертел бы – и думать нечего!

Но это он уже так, перед собой оправдывался. Ничего бы он на самом деле не провертел, потому что блатняков всю жизнь боялся панически.

Один раз (давно, ещё в тридцатые годы) довелось ему участвовать в огнестрельной переделке.

Было это в Киргизии, где они с женой недолго работали в табаксовхозе. Весной, во время пахоты, наскочили на совхозный посёлок басмачи. Зарубили учётчика, исхлестали плетью старух и ребятишек, подожгли два барака.

Мужики, которые были на пашне, увидели дым, сообразили, в чём дело, выпрягли лошадей из плугов и, похватав оружие (три винтовки и два дробовика), ударились коротким путём наперерез.

Далеко справа разматывалась по равнине пыльная лента: басмачи уходили в горы. Дорога у них была одна – через ущелье. Туда же, нахлёстывая пузатых своих коняг, спешили совхозники.

Они успели чуть раньше, попадали за камни и дружно ударили в накатывающийся оголовок «ленты» из всех стволов. «Лента» споткнулась, распухла рваным облаком, в жёлтой тьме его забились, пронзительно заржали раненые кони, хрипло закричали всадники.

А совхозники палили и палили по этому пыльному клубку, не давая басмачам опомниться.

Один раз он украл. В сорок втором году, зимой. Украл несколько килограммов овса на конном дворе. Заскочил как-то в склад, побродил в сапогах по вороху, сыпанул ещё за пазуху да набил карманы дождевика. Домой пришёл нараскаряку (овес из-за пазухи просыпался в штаны, колот там и щекотал), но довольный своей придумкой, как мальчишка.

– Ну-ка, мать, тяни сапог! – возбуждённо сказал жене.

– Ты что это, белены объелся? – удивилась жена, не зная за ним, даже за пьяным, привычки куражиться.

– Тяни-тяги. Что-то ногу у меня свело, – наивно схитрил он, предвкушая, как обрадует её сейчас.

Жена потянула сапог, но, увидев хлынувший овёс, испуганно ойкнула, набросила ему на ноги фуфайку и кинулась выталкивать за дверь ребятишек.

– Чёрт!.. Дурак! – всхлипывала она, занавешивая одеялом окно. – Ведь посодют тебя, окаянного! Осиротишь детей!

Потом он сидел на табурете в одних исподнихках, жена, не переставая всхлипывать, перетряхивала его одежку, голиком выковыривала из щелей между половицами отдельные овсинки, а за дверью скулил меньший пацан: «Ма-а-амк... пусти, я озяб...». И так было нехорошо, стыдно и страшно, таким он казался себе врагом народа, что тут же дал зарок: если пронесёт бог с этим овсом, не дознаются – никогда больше пылинки чужой не брать.

Шесть дней он был на фронте, в боях. Не погиб в первые минуты, как одни, и не дошёл целехоньким до Берлина, как другие, а оказался тем самым среднестатистическим солдатом-пехотинцем, каких и в природе, наверное, почти не было, а существовали они на бумаге, вычисленные арифметически.

Он не рвался на войну, не просился добровольцем. Но и не бегал от неё, не тряс штанами, болячки себе не придумывал. И когда в первые дни пришла ему повестка – собрал котомку и пошёл на призывной пункт. Однако к вечеру вернулся. Оказалось, что немудрёная специальность его попадает под бронь. Строящемуся алюминиевому заводу никак невозможно было обойтись без транспорта, а главным тяглом выступали лошадки и главным транспортным цехом считался конный двор.

Взяли его поэтому только осенью сорок третьего года, когда замелькали в городе американские «форды» и «доджи» и безусые мальчишки-допризывники обучались на шоферов.

Война уже докатилась до середины, уже наплывала она калек, и всем было ясно, что скоро беда эта не кончится. Но, с другой стороны, не было уже той горячки, чтобы выхватывать мужиков, как картошку из огня. Ему, например, разрешили даже суточную отсрочку – доделать крышу (он как раз перекрывал на зиму свою землянку). Уже впопыхах закончил он эту работу, а утром, чуть свет, собрался на другую. По такому случаю надел он свой единственный суконный пиджак, новую косоворотку и смазал солидолом сапоги. За стол, рано побудив ребятишек, сели всей семьей. Он выпил подряд две большие рюмки водки, похлебал борща и, перецеловав детей, пошёл воевать...

С войны он принёс стандартный трофей: немецкую безопасную бритву с десятком лезвий к ней, ранение в кисть левой руки и медаль «За боевые заслуги».

Про эти шесть дней его войны давно уж следовало бы мне написать особо. Не раз и мысль такая приходила: «Надо, надо написать». Точнее, не мысль приходила, а тянуло что-то за душу, сосало, беспокоило. Так тянет, наверное, недоделанная ра-

бота, письмо, лежащее без ответа, невыполненное обещание (ищу и не нахожу точного сравнения). А может, это «что-то» было тем самым, что называют теперь высокими и щемящими словами «память сердца»?.. Да, на памяти сердца, как видно, лежал груз, давил и тревожил.

Но я всё останавливал себя. Сначала, когда был моложе, отважнее (и сам, никогда не нюхавший пороха) мог взяться написать хоть о Крымской кампании, останавливал тем доводом, что в судьбе моего солдата нет ничего выдающегося, способного потрясти читателя. Уж больно земной он, обыкновенный, не конкурент он тем героям, про которых я в школе разучивал песни, читал книги и смотрел фильмы.

Потом, когда жизнь и годы научили пристальности и пришло понимание войны как вынужденного тяжёлого труда, я стал убеждать себя, что не имею права писать о боях, ранах, окопах: ведь сам я в тех окопах не сидел. Ну да – я знал солдат. Помнил, как уходили они на фронт и как возвращались, увечные и калечные. Помнил их бесхитростные рассказы, их глаза, их плохо выскобленные подбородки, старенькие белёсые гимнастёрки с одной медалькой, а то и без неё – именно таких вот, чернорабочих войны, поставляла на фронт улица моего детства. Я знал их, конечно, но... ТАМ с ними я не был.

А время шло. И в мире не становилось спокойнее. И росла цена не только тому большому, что совершил народ, но и тому малому, что сделал каждый.

И тяжелел груз на душе.

Теперь, мне кажется, я понимаю, о чём ДОЛЖЕН написать. Не о войне – о человеке на войне – о МОЁМ солдате, которого я всё равно знаю лучше романистов и кинематографистов и о котором никто другой не расскажет.

Как бы надо рассказать о каждом!

